

военкомата и я сбыл на базаре теперь ненужные пальто, ботинки, костюм, только после этого мы решились подойти к ларьку.

За прилавком в цветистом халате стоял рябоватый плечистый узбек лет сорока. Его диковатые, желтые, как песок пустыни, глаза недружелюбно встретили нас, особенно меня, человека явно призывающего возраста и куда моложе, чем мой товарищ, вовсе поседевший за эти несколько месяцев. Но я стойко выдержал неприязненный взгляд: э, друг, подумалось мне, я-то завтра-послезавтра найду шинель, а ты чего околачиваешься здесь за стойкой?.. И тут же невольно пришлось покраснеть. Увидел, что у продавца вместо кистей рук торчали культи, закругленные, с выпуклыми багровеющими швами, словно накрепко и навечно запечатанные сургучом. Он все же пригрозил орудовать ими и довольно умело, ловко отвернул краник бочки, подставил стаканы, пододвинул их нам. Мы положили деньги на прилавок, и он смахнул их культиами в ящик, где лежала выручка.

Услышав из нашего разговора, по какому поводу мы пьем, продавец стал явно приветливей и пододвинул даже блюдечко с изюмом, а потом вдруг поднял культи, негодящие и удрученно потряс ими:

— О, если б у меня были руки!..

— А ты где свои, бабай, оставил? — это спросил подошедший вслед за нами к ларьку какой-то выздоравливающий с заправленным за пояс рукавом.

— Здесь, здесь...

— Здесь! В ларьке, что ли? — шутливо переспросил солдат.

Продавец оскорблённо сверкнул глазами.

— Ну, чего обиделся? Я ведь без зла... Видишь, такой же... Расскажи по-дружески...

...И встала перед глазами одна из глухих беззвездных ночей двадцать девятого года, холмы, на которых был разбит первый колхозный виноградник, его рябоватый, несущий тревожную вахту сторож... А затем послышался притаенный воровской цокот и брань проникших через границу басмачей; над застигнутым врасплох человеком засвистели плети, а напоследок вот это — злобный удар клинком, чтобы вольные, охочие к труду руки никогда больше не растягли лозу.

— Да, разлюбовались басмачи... А мне, браток, тогда, в

двадцать девятом, на Днепрострое, и не думалось, что свою придется потерять... — мягко извиняясь за недавнюю шутку, проговорил солдат и взмахнул пустым рукавом, будто сожалел, что не может обменяться рукопожатием.

А культи продолжали сновать и сновать у стаканов, у краника.

Для меня надолго остались памятными и этот дощатый ларек около мечети, и его продавец еще и потому, что на фронте армию, в которой я служил, нет-нет да и нагоняли где-либо под Орлом или в Белоруссии ладно сколоченные, увесистые, как гаубичный снаряд, бочонки — дар Средней Азии. Моим сослуживцам тоже нравилось вино, однако они пили его, как мне казалось, с излишней торопливостью, порой шутливо сетуя, что оно могло бы быть и покрепче. А я подносил стопку — единственную стеклянную посуду, которой старшина отмерял сто граммов, — поближе к горящему над медной гильзой фитилю и, прежде чем выпить, долго смотрел на бушевавшее за стеклом темно-рубиновое гневное и упрямое пламя.

ГОЛЯНКА

...Потом, после Голянки, пришлось встречать сотни и сотни деревень и сел, но Голянка... Голянка все же незабываема. Не потому ли, что война, полностью стирая эти и другие села с лица земли, стерла в памяти и название многих из них?! Они представляются нескончаемой скорбной чередой безымянных, безликих пепелищ. Холмики свежей золы, прибитой дождями, колесами, танковыми гусеницами. Между ними, будто в сером саване, остыли печи, и каждая из них в безмолвном вопле раскрыла свой каменный, набитый сажей зев...

А в окнах Голянки не было тронуто ни одно стекло, все сохранилось, уцелело, и, однако, думается мне сейчас, именно там, в Голянке, еще в середине войны я словно заглянул в далекое-далекое будущее, мысленно пережил то, что грозит земле, если... если в человеке не победит человек.

Помнится, это случилось дней за семь до начала битвы за Орел. Я возвращался из Хитрово-Петрово в Моховую, где находился штаб армии. В отличие от

западной, степной, эта часть Орловщины вздыбленная, гористая — высотка за высоткой, глубокие ложбины, ветвистые крутые овраги. Один из них и сыграл со мной коварную штуку. Спускаясь по его каменистой осипи, вывихнул ногу. До фронтовой магистральной дороги, где меня подхватила бы любая попутная машина, было еще далеко. Посмотрел на карту. Да, вот за этим перевалом помечена крохотным кружочком незнакомая Голянка. Что ж, доберусь туда, может быть, отыщу какого-либо старика-костоправа, переночую, а на рассвете — в Моховую.

С трудом взобрался на перевал. Внизу, вдоль извилистой, заросшей камышами речушки, тянулись приветливо убранные буйной зеленью этого лета хаты, много хат: улица заканчивалась где-то далеко за поворотом, село большое. Конечно, если бы внимательно присмотреться, то и отсюда, с вершины холма, можно было заметить, что с селом произошло что-то неладное. Ни единой живой души ни во дворах, ни на площади перед церковью, ни у колодцев, ни на огородах. Но меня не удивило это безлюдье — и сам давно изнывал от солнцепека и предгрозовой духоты этого дня; не мудрено, подумалось мне, что тут все укрылись в тень, сидят по домам. Доковыляв до крайней хаты, остановился у калитки и стал звать хозяев. Никто не откликался, и я увидел, что калитка накрепко привязана к стояку успевшей заржаветь проволокой. Подошел к соседнему дому — то же самое: калитка заколочена гвоздями. Постучался в окна третьего, не отгороженного плетнем и, судя по всему, только перед войной отстроенного дома, — не отозвались и здесь. Дальше, дальше, вот уже и площадь с наглухо закрытыми ставнями сельмага, с церковью, выщербленная паперть которой заросла лебедой. Всюду запустение, тишина... Стало не по себе, понял, что и во всех остальных порядках не найти никого. Жители села, оказавшегося в ближней прифронтовой полосе, переселены: наверное, весной, а может, и того раньше, покинули вместе со всей домашней живностью свое дедовское гнездовье...

Тягость одиночества в той или иной мере знакома каждому. Здесь тысяча оттенков. Сжимающее сердце одиночество, порожденное какой-либо несправедливостью в детстве или юности, томительность одиночества в темноте шахты, или в лесу, или в ночной степи;

но одиночества, подобного тому, на какое сейчас меня обрекла Голянка, я не мог прежде и вообразить. Оказаться одному, совершенно одному среди этих шестисот или семисот дворов, где всякая любовно вытесанная лавочка, подпорка у стены, плетеная изгородь, выдолбленная колода для воды, яблоня в палисаднике напоминали о веселом трудолюбии людей и в то же время кричали о своей заброшенности и сиротливости! Такого я не испытывал никогда. А тут еще эта распухшая ноющая нога, никто, никто не может помочь или хотя бы просто посоветовать.

Заведомо зная, что никого не встречу, все же брел от двора к двору, подгоняемый окружавшей меня противостоящей немотой. Хоть бы тявкнула шелудивая собачонка, хоть бы прожужжала пчела, чирикнул случайный воробей, загудел комар!.. Но и они исчезли вместе с людьми. И даже ручей через который был переброшен мостик, тускнел мертвенно недвижной заводью, в которой, пожалуй, перевелись и лягушки.

Начинало смеркаться, надо было все-таки подумать о ночлеге. Я мог выбрать любую из хат. В конце концов, проникнуть в какую-либо из них не составляло особого труда. Направился к крытой соломой, ладно побеленной хате-пятистенке, недалеко от почты. Двери самой почты были забиты доской, ни одно письмо не спешило сюда, к жестянистому синему ящику, прибитому у двери.

Оказавшись в просторной, чисто подметенной горнице, решил не задумываться над необычностью ожидавшей меня ночи. Так будет лучше — скорей засну. Но, даже мельком скользнув взглядом по горнице, по засохшим цветам на подоконнике, по изъязвленному трещинами глиняному полу, я понял, что отогнать навязчиво подступавшие мысли не в силах. Неведомая мне хозяйка, уходя, на прощанье убрала хату, оставила ее в порядке, но, лишенная человеческого тепла, души, она уподобилась склепу, где всюду тлен и тлен...

Кадка у порога пустовала, рассохлась. Я вышел во двор, к колодцу. Завизжал ворот, загремело, ударяясь о сруб, ведро — и с этим единственным пронесшимся над Голянкой звуком еще ощутимей стало мое полное одиночество.

А затем подошла ночь, душная, длинная, томительная. Болела воспаленная нога, и после нескольких минут забытья сознание возвращалось воспаленным, горячеч-

ным. Наверное, я стонал, ибо, просыпаясь, казалось, еще слышал затихавший в горнице голос. Но кто мог услышать еще, если бы я даже кричал от боли на все село? Снова закрывал глаза, и в полуудремоте болезненно мерещились сотни, тысячи Голянок, представлялось, что вся земля стала мрачной, обезлюделой пустошью, и невольно прислушивался к стуку сердца, будто желая убедиться, что хоть я пока существую, живу...

Когда в окошко хлестнул дождь, я обрадовался. Они были все-таки живыми и деятельными, эти струйки, побежавшие по стеклу, зашумевшие в буряне и листве палисадника. Но, чуть погодя, в ночи вылезился и еще один звук — какой-то округлый, гулко и тягуче поплавивший над селом. Что это, разрыв снаряда? Но вряд ли немцы с их хорошо поставленной воздушной разведкой стали бы обстреливать пустое село. Разве причудилось? Еще удар, еще! Да ведь это же колокол в церкви или часовне. Очевидно, оборвалась веревка, которой привязывали язык, и вот раскачиваемый ветром колокол заговорил, сурово и пасмурно возвращая меня к прежним мыслям. Ты один, один, совсем и навсегда один!..

Он утих только перед рассветом, а мне уже не лежалось. Торопливо свернула плащ-палатку, вышел на улицу. Голянка со всеми своими хатами, овинами, садами смутно проглядывала в дымке этого раннего часа. Призрачная, серо-пепельная. И когда я стал выламывать из затрещавшего плетня хворостину, вдруг почудилось, что все вокруг сию минуту развалится, осыплется, как осыпается даже от легкого прикосновения какое-нибудь перегоревшее в прах вещество.

Опираясь на палку, зашканьбал на оконицу. Чтобы спрямить путь, уж хотел было идти огородами, но тут издалека донеслось неясное громыхание. Неужели подвода? Ближе, ближе, громче. Возница гнал изо всех сил. Из-за почты вынеслась военная фура. Я шагнул на дорогу, но сидевший в повозке ездовой, словно отказываясь поверить, что здесь, кроме него, может оказаться кто-либо еще, продолжал нахлестывать лошадей, и лишь сами лошади, увидев меня, заржали, остановились.

— Вы что же, не видите? — одновременно и радуясь и сердясь, выкрикнул я.

Немолодой рыжебородый ездовой, и в солдатской гимнастерке сохранивший повадки колхозного конюха, растерянно переложил кнут из правой руки в левую,

ошеломленно заморгал мучнистыми от дорожной пыли ресницами.

— Извините... извините, товарищ старший лейтенант, и впрямь не разглядел. — Он смотрел на меня все еще диковато, недоверчиво, с сомнением, да и у меня вид был оторопелый, будто мы встретились на иной, чужой для нас обоих планете.

— Вы не в Моховую, папаша?..

— Чуть поближе... Да ведь вам все равно со мной по дороге... Садитесь вот сюда на сенцо. Одни здесь?

— Один. Ногу подвернула, заночевать пришлось...

— Э, кабы знать... Я ведь тоже... Только на том краю... Считал, что, кроме меня, никого...

Теперь он уже не спешил. Неторопливо достал пестрый, как цыганская шаль, кисет, свернул цигарочку, облегченно пыхнул дымком, кружевные сизые колечки поплыли и развеялись в воздухе; бесследно развеивались и все ночные раздумья. Значит, не только я не спал этой ночью?

Ездовой сдвинул на затылок пилотку, отер лоб, собрал в пятерню вожжи.

— Ну, жи-и-во-о!

Ему, да, признаться, и мне, толковать о том, что минуло, не хотелось. Надо было делать свое солдатское дело.

БАТИСТОВАЯ КОФТОЧКА

...Неужели передо мной та самая Турья?.. Накануне командировок казалось, что стоит мне очутиться на этом пологом травянистом берегу — и все, что ни увижу здесь, сразу властно напомнит о весне сорок четвертого года... Но людская память пасует перед неутомимо обновляющейся жизнью, и те давние дни отодвигаются дальше, невообразимо далеко, когда оглядываешься по сторонам... Сбросив походные рюкзаки, плещется, озорничает, хохочет в затоке гурьба школьников-следопытов, в кипении брызг впору бы засиять и радуге. Правей излучины реки прянично рдеют черепичные крыши Ковеля. По изнемогающему от зноя асфальту несутся, сверкая лакированными боками, автобусы. На Маневичи, Сарны, Луцк!.. А куда же, за какие тридевять земель укатила ты, разбитая, обшарпанная, громыхающая снарядными гиль-